

A scenic autumn landscape featuring a calm river in the foreground, reflecting the surrounding trees. The trees on the left have vibrant yellow and orange foliage, while those on the right are darker. In the background, a line of trees separates the river from a grassy area. The sky is bright and slightly overcast. A large green text box with a black border is overlaid on the right side of the image.

БОРИС ОБОЛДИН

**В ИМЕНИ
СВОЁМ ДА
ОБРЕТЁШЬСЯ...**

Борис Оболдин

В имени своём да обретёшься...

«Издательские решения»

2015

Оболдин Б.

В имени своём да обретёшься... / Б. Оболдин — «Издательские решения», 2015

ISBN 978-5-4474-1103-9

Сборник рассказов представляет из себя удивительную палитру, многообразное смешение жанров, сюжетов, неожиданных поворотов в судьбах героев. Тут и война, и шахтерские кони, и интерпретированные автором библейские сюжеты, и детство, даже романтическая сказка. А всех их объединяет одно – попытка автора осознать сущность человеческой души.

ISBN 978-5-4474-1103-9

© Оболдин Б., 2015
© Издательские решения, 2015

Содержание

Первенец	6
Умею ли я читать?	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

В имени своём да обретёшься...

Борис Оболдин

© Борис Оболдин, 2015

Фото на обложке wikipedia.com

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Первенец

– Дрова – они и подождать могут. По морозу их колоть даже сподручней. И с крышей на бане до дождей тоже ничего не сделается и забор пока еще не падает – успеется это все. А вот сено – оно ждать не умеет. Если пора подоспела – лови нынешнее погодье, шибай мураву-то, а назавтра проси у Бога к зною еще и ветерку, сам не дремай, шевелись, валки подсохшие вороши да сгребай, под зароды место готовь, на небо не забывай поглядывать. Начнешь зароды ставить – зови дядю Семена. Пусть он на зарод лезет, вершить начинает, да так, чтобы никакой ливень тот зарод не пробил. А когда завершишь остатним сеном последнюю копенку, тогда можешь и баньку топить, да после баньки на пару с дядей Семеном стопку-другую пропустить. Успел – и, слава Богу. Значит, в зиму с сеном войдешь...

Лекцию эту по трудной крестьянской философии, Семен Заварзин проговаривал самому себе по той простой причине, что больше некому было. Позабыли все про дядю Семена – старый, мол, стал, неспособный к тяжелой покосной страде.

– Петров день, он ведь все равно, что колокол заутренний, – продолжал крутить свою пластинку Семен – он сигнал крестьянину дает – травы семя оземь роняют, самое время за литовку браться. Ежели лениться не будешь, то до Ильи все и справишь.

А Петров день случился третьего дня, потому-то вчера, с самого, что ни на есть утречка, в хлопотной суматохе началась всеселезневская страдная мобилизация.

Под знамена кос, вил и граблей вставали семьями, поголовно – мужики, бабы, молодежь, детвора, даже дошколята из числа тех, кто понастырнее. К вечеру в Селезнях, помимо скотников и доярок, остались только те, кто на хозяйстве – дед Костя, да Семен Заварзин с благоверной своей Глафирой.

Только сегодня дядя Семен уже корил себя самыми обидными словами за то, что поддался на уговоры и позволил «списать себя в обоз». С утра еще как бы и ничего было. На первой зорьке девчата подоюнками прогремели. «Дядя Семен, дядя Семен – накажи тете Глаше – пускай за марлей приходит, заведующая разрешила». Опять же свою Ягодку напоить надо, да подоить, да в стадо наладить, да Коли Шмелина теленка не забыть, да до колодца пару раз с ведрами сбегать, да теплицы у соседей пооткрывать – в общем, день как бы не без смысла начался.

Но к полудню, когда набрал силу июльский зной, деревня словно возьми, да и вымри. Под палящими лучами само время расплавилось, потеряло свою упругость и совсем перестало двигаться – жарко ему. А вслед за жарой навалилась на Селезни какая-то гнетущая тишина – ни собака не сгавкнет, ни вездесущий воробей не чивикнет – будто все живое покинуло эти места, оставив после себя неподвижность всего и вся.

Так что было от чего Семену впасть в уныние, с которым он сталкивался за свою некороткую жизнь редко и относился к нему как к гриппу, против которого никакие лекарства не помогают – им надо просто переболеть, перемяться. А перемяться лучше всего с литовкой девятого номера или, на худой конец, с лопатой бригадирского размера. Лопату найти, конечно, можно, но у того, кто на хозяйстве остается, главная задача – не лопатой махать, а обеспечивать тыл бойцам сенокосного фронта. И стратегия тут простая. У нынешней молодежи силушки столько, что под нее мерку еще нескоро подберут. Только вот у ребят тех руки все больше поперед головы забежать норовят. При таком раскладе, черенки да косовища хоть из железа куй – все равно сломают, да еще скажут, что сучок виноват и что, вообще, им брак подсунули. Железо – не железо, но лучшего материала, чем ель, для этого дела не найдешь. Еловый черенок бывает, что и надтреснет, когда какой-нибудь местный Илья-Муромец захочет за один раз всю копну снести. Надтреснет, а до конца страды сдюжит. Вон у деда Кости в стайке вилы стоят старинные, кованые, с царских еще времен. Так у вил тех и черенок еловый

им под стать. С годами только крепче да благородней становится. Потемнел только, да мозолями отполировался. Будто краснодеревщик проморил его под дуб, да еще и лаком дорогим покрыл. Такие вилы и в музей не стыдно снести.

Разговорами этими, про себя проговариваемыми, дядя Семен, как мог, отгонял от себя хандру. Носил под навес еловые жердины, шкуру их топором, остроты бритвенной, выгонял заготовку под размер, выносил для просушки на солнце, а сам нет-нет, да и вслушивался в звенящую тишину – хоть бы голосу или звуку какому обрадоваться.

Уж не знаю, можно ли это назвать голосом, только вскоре, где-то далеко за околицей, начал гавкать мегафон.

– Неужто Сережка Грязнов опять за свое взялся, дрессировщик хренов? Как его только в пастухи то взяли.

Он ведь что учудил недавно: кнут, самый главный пастуший инструмент, за пояс заткнул, а вместо него на шею тот самый мегафон и нацепил. Нечего сказать – мудро рассудил. Мол, лежи себе на пригорочке, да по сторонам поглядывай, а когда вздумается норовистой какой буренке рацион свой на соседней полянке поразнообразить, тут самое время и рыкнуть на нее через мегафон. Бедная буренка со страху бежит спасаться в стадо, остальные тоже в кучу сбиваются, да телят своих прикрывают, хотя, вроде бы про волков в наших местах давно не слыхивали. Такая вот рационализация. Только на третий день, из-за своей рационализации, пришлось Сереге от разъяренных баб бегством спасаться. У коров, оказывается, тоже стрессы бывают. От душевных тех переживаний приключился у селезневских буренок нервный срыв, и надои враз упали, чуть ли не в половину против прежнего. В общем, горе – пастуху, как говорится, досталось «на орехи». Да видно, урок – не в прок.

Чу! Еще шум какой-то. Вроде мотоцикл где-то тотокает. Почихал, почихал, да и замолк. Опять тихо. А пора бы уже и калитке стукнуть.

– Где же Глафира-то ходит-бродит? Обедать давно пора, а она языки с доярками чешет.

Калитка так и не сбрыкала, зато Глафира внезапно вынырнула из-за сарая, шурша подолом по бурьяну, быстро-быстро засемила к своему благоверному. Семен хотел было ее подначить, мол, в ее годы несерьезно через заборы сигать, да только глянул на лицо ее и осекся, почуввав неладное. В глазах Глашиных не тревога, и не страх даже – ужас, черный ужас плескался. Толком сказать ничего не может, только трясущейся рукой на дорогу показывает: «Там... опять...»

– Да что случилось-то?

– Фа... фашисты, – пала на чурбак дровяной, голову на колени уронила, закрыла лицо руками и забилась, словно в ознобе. Это на июльской-то жаре.

– Бог с тобой, мать! Какие фашисты? Били уже фашиста, крепко били.

Все-таки Семен поднялся, пошел к забору, топора, однако, из рук не выпустил. Думалось ему, что надо бы Глаше компресс холодный на голову приложить, перегрелась, видать, а только как глянул на дорогу, да так и пал наземь, зарываясь лицом в бурьян, чувствуя, как перехватывает дыхание: «Бауэр!!! Явился, значит!»

Признал, признал его Семен. Да и как было не признать эту долговязую, угловатую фигуру, одетую в мышинный китель, с засученными по локоть рукавами. Как было не признать эти руки, густо забрызганные охрой веснушек, покрытые до самых запястий рыжим пухом, этот нос с неарийской горбинкой, эту, выглядывающую из-под каски, лопухость. А уж тесак, оттопыривающий голенище, Семен до конца своих дней не забудет. И боль ту, что внезапно вцепилась в затылок, застияя свет белый, дыбя на загравке несуществующую шерсть, Семен тоже узнал. Звала она, тащила его против воли туда, под Ржев, в тот тяжкий сорок второй год, кровью обильною щедро землю кропивший, победы еще не обещавший, но из-под полы супостату лютому осиновый кол уже показавший. Там, под Ржевом, получал Семен с благословения старшины Выгузова, перекрестившим его перед первым «ура», свое боевое креще-

ние. А пришлось то крещение на рукопашку. Про траншею ту злосчастную, разведка наша не знала – видать, фрицы ее ночью копали, а к утру еще и замаскировали грамотно. Потому-то шквал артподготовки прошелся чуть севернее, по известным уже укреплениям.

Атака наша началась дружно, напористо – такую не враз остановишь. Тут-то и застучали траншейные пулеметы, прижимая ребят к земле-матушке, кого живым, кого мертвым. Стройное «ааа...» начало захлебываться, еще немного, и сорвется атака. Только выручила солдата русского короткая июльская ночь, не позволила вражине траншейку до зари к леску дотянуть. А из куцей той траншейки, пулеметиком, веер атакующий целиком никак не охватить, хоть наизнанку вывернись, так что по коридорчику тому между леском и траншеей два наших взвода почти как по бульвару пробежались, без большой крови. И спустя секунду-другую уже сыпались горохом на вражьи головы. Эх, спасибо старшине Выгузову, строго-настрого наказавшего не расставаться с саперной лопаткой нигде и никогда. В тесной траншее, без нехитрого этого инструмента, туго бы пришлось Семену, а с ним – только успевай, поворачивайся. А траншейка встретила Сему металлическим лязгом вперемешку с хрипами и рычанием. Щуплого Федю Зотова долговязый фриц уже добивал, но зря он к Семену спиной повернулся («держись, Федя, я сейчас»). Метила лопатка аккуратно немцу в загривок, чуть ниже каски, да, видать, за фрица того мамка крепко молилась. Мотнул он башкой в самый неподходящий момент, хотя и не видел Семена. Цвенькнула лопатка по каске, отрикошетила в сторону, потянула за собой, лишая опоры. А долговязый резко откинулся назад, впечатал Сему в откос траншейный, крепко прижал спиной. Будто клещами ухватил Семеново запястье, не давая лопатке вольного замаха, а сам шарил за левым голенищем, не обращая внимания на то, как Семен свободной рукой рвал ему кадык. Ну, а уж когда нашарил фриц тесак, тогда у него на руках все козыри и объявились – резко освободил боекрещаемого Сему, да с разворота всадил тесак ему в грудь, метя под сердце. Только за Семена тоже было кому молиться, было кому и свечку заздравную ставить. Подвела фрица хваленая немецкая аккуратность. Кто же тесак сначала в ножны вкладывает, а потом за голенище сует? Голенище, оно само по себе ножны и есть – хоть для ножа охотничьего, хоть для финки воровской, хоть для тесака стали крупновской. Схрястали, ломаясь, Сенины ребра, но ходу тесаку вноженному не дали. А тут уж его черед настал, козыри раздавать и своего случая красноармеец Заварзин не упустил.

Прошла лопатка по фрицу от уха до переносицы, для верности еще и по кадыку ненавистному, а потом уж и пали оба – два по разные стороны траншеи. Живы ли, мертвы ли – не разберешь...

К тому времени и траншейка та куцая нашей стала. Ребятки разворачивали пулеметики в ту сторону, где солнце садится, деловито поправляли бруствер, раскладывали по нишам карманную артиллерию – ждали «гостей дорогих», хоть и незваных, готовили им знатное угощение.

Стал приходиться в себя и Семен. Сквозь плену, невесть откуда взявшуюся, видел он только качающийся осколок неба, да колеблющийся силуэт своего «приятеля». Мало-помалу голова прояснялась, силуэт фрица перестал колебаться. Теперь его можно было рассмотреть. Только лучше бы Семен не делал этого – смерти чужой, тобой сотворенной, в глаза заглядывать – все равно, что с собственной целоваться. Восседал фриц, как в кресле, вальяжно откинувшись, впери в Сему остекленевший глаз. Второй глаз то ли был, то ли не был, но веки его сощурились в издевательском подмигивании. Съехавшая на сторону нижняя часть лица в дьявольской ухмылке щерила кривой оскал. Встанет сейчас этот немец и скажет: «Ловко же ты меня, иван, уделал, а я вот оплошал трошки. Но, думаю, что ты не в обиде».

К тому же перед тем, как помирать, умыл фриц образину свою кровушкой, а вытереться забыл. Так что, ежели без доброго стакана взирать на этот винегрет, то можно и душой повредиться.

Мишанька Мосин, друг сердечный, неуныва и балагур, жиганок еще тот, уже наводил в траншее порядок согласно своему уставу. Мишаньке, ему ведь, что нары тюремные греть, что фрица бить – все едино. Он во всем свою выгоду найти может. Мародерство, конечно штука некрасивая, можно даже сказать, что очень некрасивая. Только вот вражину прищуренного не обшмонать на предмет сувенира какого (ну, там «котлы» или «лопатник» какой заваливший) – себя не уважать. Опять же, как трофей заслуженный от мародерства отличить, никто не знает. Но Семин фриц его явно разочаровал, кроме записной книжки, другого сувенира не подарил. В сердцах Мишанька шлепнул немца по уже начавшему заостряться носу с неарийской горбинкой, да стал его поучать: «Что же тебя, мразь, Гитлер твой не научил, что к русскому ивану без подарка в гости лучше не заявляться, себе дороже будет».

А книжечку на всякий случай полистал: «Пауль Бауэр. Так ты, на наш манер получаешься Паша Крестьянинов. Тогда понятно. Откуда у крестьянина „котлы“ возьмутся? Прощаю!»

Бауэр вдруг всхлипнул, с прихрапыванием, как бы извиняясь, да стал заваливаться набок, устраиваясь поудобнее на немягкой русской перине. Лицо его стало быстро покрываться пепельным налетом.

От этой картины муторно стало Семену, так муторно, что рвотные позывы не могла удержать дикая боль в сломанных ребрах. Семена рвало.

– Э, зяма... зяма..., ну ты чего? Старшина, если прознает, что ты казенные харчи наземь мечешь, он тебе симметрию на ребрах быстро наведет, чтобы фрицу не обидно было, – Мишаня молот всякую чепуху, а дело не забывал. Выложил бинты, быстренько извлек откуда-то заветную фляжечку, не брезгуя, отер Семе рот, влил, не жалея, добрую порцию горячительного, сам пригубил плотно, потряс фляжку над ухом (еще на атаку хватит).

– Давай-ка, зяма, руки задирай помалу, бинтоваться будем.

Бинтовал Мишаня ловко, лишней боли не доставлял, повязку клал туго, но так, чтобы дышать можно было, и балагурил, балагурил.

– Он у тебя первенец что ли? Так что же ты, голова садовая, напротив него уселся да еще и глаза на него пялишь? Нету его, нету и все тут, зажмурился он! Другой раз приласкаешь кого, так и не смотри на него, забудь. До Берлина их еще о-го-го, сколько будет, всех если помнить, никакой души не хватит. Я ихнего брата за год десятка полтора ублажил, а, кроме первенца, никого не помню. Да и того запомнил только потому, что добивать пришлось, а он шибко жить хотел. Ну, давай еще по наперсточку дерябнем, только ты особо не расслабляйся. Фриц очухается, в контратаку пойдет. Траншейку он нам, почитай, задаром отдал, а подарков делать не любит. Ну, да, если что, я рядом буду. А первенца твоего я сейчас оттащу подальше, вам вдвоем тесновато тут. – Ухватил немца невежливо за шиворот и поволол с глаз долой.

На контратаку фриц не отважился. Видать ему не до того было. На правом фланге разнокалиберная перепалка шла до самой темноты. К полуночи притопал Мишаня с шинелькой трофейной, добротной. Лег рядом с Семой, накрыв обоих той шинелькой, задремали чутко.

Перед рассветом нешумно зашевелились в окопах. Старшина Выгузов сухпай раздавал («жив, Заварзин! Ну, и, слава Богу, воюй, сынок»), считал боеприпас, выдавал скуповато патроны – готовились к новой атаке. Канонада артподготовки тоже себя ждать не заставила – и пошло-поехало. Вперед смотреть все-таки не так страшно было, как назад оглядываться. Вперед, только вперед!

Бабенка та, которая с косой, до солдатской души похотливая, не отставала, всегда рядом была, но Сему до поры – до времени не примечала. Опять же и Мишанька всегда рядом был. По всему видать его к Семе ангел-хранитель определил.

И все бы ничего, если бы не Бауэр. Да уж, Бауэр... А может, и не было никакого Бауэра, и не убивал его Семен, а? Мало ли что по горячке пригрезиться может. Бред это все. Только вот бред этот горячечный нет-нет, да и обдаст душу крутым кипятком.

По первому снегу Сему с Мишаней присмотрели разведчики. Сватали их недолго – комполка отдал приказ и «кругом, шагом марш» в отдельный разведбат. А у ребят тех из разведки была музыка своя, тихая да неспешная. Работа их больше терпением да мозгами прибыток дает. К такой работе брату-окопнику слету не приспособиться. Опять же топография у них. В паутине родных бездорожий, троп и тропинок Семен чувствовал себя как в своем огороде, запад с востоком никогда не путал, а все равно над картами поначалу пришлось попотеть. Как бы там ни было, а вскоре начались у друзей-товарищей прогулки по вражьи тылам. Сначала короткие, а потом, бывало, и по недельке у фрица гостили. И с партизанами обниматься приходилось, унося от них в штаб весточку. От той весточки иной раз туз козырный в рукаве у фашистского генерала оборачивался шестеркой крестовой. Узнал Семен и то, какой нетихой иногда бывает разведка. Не брезговали ребятки сарайчик с горючкой для танков подпалить, мосток какой-никакой вовремя уронить, а то и просто пошуметь гранатками, отвлекая внимание немца от наших саперов. Мишаня от забав этих прямо в восторг какой-то приходил.

Ближе к весне определили Заварзина с Мосиным к «язычникам». На то был свой резон. Несмотря на особую секретность, даже кашевар знал, что грядет небывалое наступление. Начались у разведчиков горячие денечки. Группы одна за одной уходили за линию фронта, возвращались и тут же уходили с новым заданием. Только этого всего мало было. В высоких штабах требовали «языка», да и не одного. Ребята шли в «язычники» охотно. И не столько из-за орденов, больше из азарта охотничьего, а пуще того – из-за куража, очень даже свойственного русскому мужику. Успеть дотащить, пока живой, «языка» до своих, да, ежели он еще из офицеров штабных – это ли не кураж! Хотя, правда и то, что с орденом тоже власть покуражиться можно. Ну, да одно другому не помеха.

С утра до вечера ползал Семен за спиной у фрицев, стараясь не выпускать из виду Мишаню. Все высматривал да высчитывал, куда немец ходит нужду справлять, да как часто, кто по дороге разъезжает и что возит, где офицерский блиндаж находится и как он с траншеей сообщается. Оптику свою старался против солнца не ставить, дабы зайчиком солнечным себя не обнаружить. Слушал поскуливание губной гармошки, вдыхал запах немецкой каши с тушенкой, будь она неладна.

К закату сползли с Мишаней в овражке, стали прикидывать, как сподручней фрица из окопа выудить. Вариантов было немного. Сошлись на том, что часовой, которого немцы на ночь выставляют блиндаж охранять – самая подходящая фигура. Первый кандидат в «языки», хотя и не был перевязан голубой лентой, своей беспечностью вполне тянул на долгожданный подарок. Он не охранял, он просто бродил вокруг блиндажа, закинув автомат за спину, засунув руки в рукава шинели, тихонько мурлыкал себе под нос что-то про забывенную Гретхен. По всему было видно, что в мыслях он далеко отсюда. Встань у него на дороге, расставив руки – он сам упадет в жаркие русские объятия. Но рановато он на пост заступил. В блиндаж то и дело кто-нибудь входил-выходил, то тут, то там мелькали чьи-то тени. Рано еще.

После полуночи безалаберного солдатика сменил толстячок. Тот какой-то зашуганный оказался. Все больше жался к блиндажу, дергался на каждый шорох, на открытом пространстве ему явно не по себе было. Такой в любую секунду запаниковать может, по поводу и без повода. Чего доброго и пальбу откроет. В общем, не оправдывал надежд толстячок, не подпускал к себе. А время шло.

Толстячка сменил долговязый. Этого уже упускать нельзя было никак – иначе до света не переправить будет. А вел он себя очень даже грамотно – не суетился, вслушивался время от времени в ночные шорохи, к кустам близко не подходил, опять же затвор автоматный предупредительно передернул – такого голыми руками не возьмешь. Правда, вскоре он надежду подал. Кому же на морозе согреться неохота. Вот он и достал фляжку с заветным шнапсом. Пей, кум разлюбезный, пей, согревайся. Минуток через пятнадцать малость подразвезет телеса твои бранные, тогда тебя на опережении взять можно будет. Эх, хорошо, что бы ты еще куря-

щим оказался. Курящий, после шнапса обязательно сигарку засмолит. Когда прикуривать будет – отвлечется, ослепнет на секунду малую. Тут самое время его к землице и притиснуть.

Долговязый был курящим. Когда щелкнула в темноте крышка портсигара, Сема весь подобрался, на слух прикинув, что до немца не больше пяти метров и что поземка от него к долговязому наветренную сторону держит. Значит, прикуривая, он обязательно будет прикрывать огонек и повернется к Семе спиной.

Так оно и вышло – не покурил фриц свою сигарку. Чиркнул раз-другой зажигалкой да и шмякнулся оземь. Когда очухался – вместо сигарки во рту кляп и два добрых молодца уже пеленают его по рукам и ногам, как дитяню малого. Пока фрицы хватились своего незадачливого караульщика, прошло не меньше часа. Хватились и заполошили, расцветили все небо сигнальными ракетами и такую трескотню подняли, разве что из пушек не палили. Да напрасно все это. Сема с Мишаней уже далеко были. «Язык» за это время пообвыкся с новым званием, шел своим ходом, лопотал что-то про капут, всем своим видом выражал покладистость. А там и заветное болотце замаячило – перейди его по скрытому броду, да по проходу в минных полях прогуляйся – и дома. На краю болотца сделали небольшой привал. Надо было дух перевести, да перекусить, в первый раз за двое суток. «Перекусили» шнапсом, «закусили» сигарками, повеселели. Подобревший Мишанька и фрицу сигаретку в рот сунул, чиркнул перед его лицом зажигалкой, осветил на миг рыжую физиономию с горбатым носом, с прищуренным подбитым глазом. Тут-то и закачались перед глазами Семиными звезды, а потом и вовсе опрокинулись, завертелись вместе с деревьями и болотцем вокруг этой физиономии. «Не смертельный я, иван, не смертельный», – где-то в мозгу у Семы кричал Бауэр. Сунул Сема руку к немцу за голенище, в надежде не найти тесака, да ведь и тесак на месте был. А дальше он уже и не соображал ничего, не видел, вноженный был тесак или оголенный – кромсал по ненавистой физиономии и слева и справа, пытаясь освободиться от кошмарного видения, не замечая, как его самого месили крепкие Мишанины кулаки. Очнулся Семен, когда Мишаня, опрокинув его на спину, уселся ему на грудь, и, в промежутке между хлесткими ударами, сыпал на изуродованное лицо пригоршни снега.

– Ты че наделал, зяма, а? Я тебя спрашиваю, ты че наделал, тварь? Ты не фрица грохнул, нет. Ты наших ребят положил. Ты это понимаешь или нет?

– Бауэр. – Семен показал глазами на скрюченного фрица.

– Ты че мелешь, какой Бауэр?

– Первенец.

Мишаня все понял и как-то нервно хохотнул:

– Ну, ты точно с катушек съехал. Сейчас я тебе покажу, какой это Бауэр.

Не поленился Мишанька, оторвался от Семы, обшмонал остывающего фрица, нашел искромсанный, мокрый от крови кусок картона с несколькими листиками, чиркнул зажигалкой, прочитал что-то, а сказать ничего не сказал и молчал как-то нехорошо, тревожно. Наконец выдал:

– Ну и что? Винтовка вон наша тоже мосинской называется, так я же не говорю, что это я ее придумал. И Мосина того в родне у меня не числится.

Только Семену от этих рассуждений легче не становилось. Прочитал он то, что удалось разглядеть в той книжице. Сквозь густое пятно крови читалась фамилия, и даже одна буква имени: «Вауег Р...». Так-то вот.

Мишанька еще что-то бубнил про то, что Бауэров в Германии как Кузнецовых на Рязанщине, а рыжих – у них вообще полстраны, только не верил ему Сема. Понял он, что жить-воевать бок обок с этим самым Бауэром ему долго придется. А может, и до конца дней своих. А как с этим жить и насколько его самого вообще хватит, красноармеец Заварзин не знал. Думать про это не хотелось, да и сил не было. Не было их и у Мишани. Плюнув на все, прижались друг к другу, пытаясь согреться, две души солдатские, забылись в дреме. В дреме той не слы-

шал Сема, как осторожно крался сквозь тишину леса мягкий снег, безнадежно опоздавший на январский карнавал, не видел, как тщился он укрыть ковром белым безумие и бесчеловечье людское, войной именуемое. Но, очнувшись от забытья и разглядев аккуратный белый бугорок на том месте, где лежал недавний «язык», испытал облегчение – вроде как не беспризорным остался Бауэр. Приютила его земля русская.

А было уже совсем светло. Мишаня и тут оказался на высоте. Нашлась у него и сигаретка одна на двоих, и спирту нашего, не трофейного, налилось по наперсточку. Тут, конечно, котелок с кашей не был бы лишним, да, видать, каши солдатской не скоро суждено отведать, если вообще суждено. Подкрепились два друга-товарища, поднялись и, не сговариваясь, пошли прочь от болотца, искать удачу, из рук выпавшую. Понимали оба, что от окопов им теперь нужно подальше держаться, потому и дорожку по свежему снегу тропили, забирая вправо, в сторону от траншеи. Планов никаких не было – решили так, что если где живым запахнет, там немец обязательно греться-кормиться будет, а русский Авось рано или поздно их к этому месту выведет, и на скользкой дорожке оступиться не даст.

Шли долго, обходили стороной неприбранные пашни, прижимались к лесу, досадовали на свежеснеженный снег, с детской наивностью радостно рассказывающий всем кому ни попади, кто и когда по лесу бродил. А случилось так, что зря они снежок хаяли. Часа через два неустанной ходьбы, когда вышли разведчики на заброшенную дорогу, указал он им на проторенный по свежей пороше первопуток. Мишаня, чуявший удачу за версту, аж пританцовывать стал от возбуждения:

– Ты только глянь, зяма, – указывал он на четкие отпечатки автомобильных протекторов и на следы лошадиных подков, – это только немец может додуматься, чтобы посередине зимы за лошадь вместо саней колеса цеплять. А колес никак не четыре было, а всего два. Как думаешь, что фрицы по этой дороге тащили? У артиллерии колея шире будет. Значит, что-то другое. Эх, голова садовая! Да ведь это же полевая кухня. И время сейчас обеденное. Обедает фриц. От нас до окопов километра два будет – так что, через час-полтора, его назад ждать надо. Чует мое сердце – с той самоходной кастрюли и нам харч перепадет.

В одном Мишанька ошибся – во времени. Не прошло и двадцати минут, как стало слышно, что где-то побрякивает на ухабах явно порожняя посуда. А еще немного погодя, явил себя пред ясны очи ухоженный савраска с той самой походной кухней, с восседающим на широкой савраскиной спине супочерпием унтер-офицерского звания. Всего в двух верстах от линии фронта чувствовал он себя в полной безопасности. Даже автомат, и тот болтался на луке седла. В ситуации этой Мишаня превзошел самого себя – дико кривя рот, будто его судорогой сводило, вытянув шею и задрал голову, издал рядовой Мосин протяжный душераздирающий волчий вой, да такой, что кровь в жилах стыла, от ужаса безысходного. Вскрапнул дико коняга, да и ломанул прочь от этого воя, не разбирая дороги, сметая все на своем пути, сбросив седока, опрокинув походную кухню, оборвав построики. Унтер-офицер даже не сопротивлялся, лежал, покорно задрал лапки.

– Не зашибся, милоч? – Мишанька на радостях разразлюбезничался не в меру, помог немцу подняться, отряхнул с шинельки налипший снег, не забыв, однако, обшарить и шинельку, и китель.

Семен тем временем спешил к застрявшей между сосен опрокинутой посудине, шкрябал половником по днищу, прикидывая, что макароны еще даже не остыли. Нашелся и хлеб, и ложки, немецкого покроя, и котелок – что ни говори, а все-таки обстоятельный народец немцы.

Харчи – харчами, а только надо было поскорей убираться подальше от дороги. Вглубь леса, даже и по проторенному следу, немец сунуться побоится – не у себя дома. Главное, чтобы они своего кашевара не сразу хватились. Но тревогу никто так и не поднял. До болотца добра-

лись еще засветло и, едва дождавшись темноты, пошли по броду, потом по проходу в минах, а еще чуть погода зазвучала сладчайшая из всех музык: «Стой! Кто идет?».

– Васька, щас ты у меня узнаешь, кто идет! Ты гранату на вкус давно пробовал?, – Мишанька радостно и не таясь, орал на весь лес, весело и самозабвенно костерил ни в чем неповинного Васю Истомина. Ну, да тот тоже в долгу не остался.

– Мосин, ты что ли? Ступай, откуда пришел. Мы по вам с Заварзиным уже поминки справили и с довольствия вас сняли. Так что, поворачивай оглобли! – А сам аж захлебывался от радости, что ребята живы-здоровы и не порожняком до дому добрались.

– А мы, грешным делом, вас и вправду схоронили. Вчера, когда немцы нешутейно палить начали, а ни тебя, ни Семена к утру не было, решили, что головы свои вы там оставили. А нынче по всем приметам видно, что вам еще долго землю топтать. И унтерок ваш ко времени угадал – комбату штабисты всю плешь проели.

«Язык» и впрямь полезным оказался. Возил он свою кухню по разным точкам, что само по себе уже о многом разведчику рассказать может. Опять же, за провиантом на склад его и снаряжали. Сам он столовался при штабе и у штабных своих считался нужным человеком. Наверное, это во всех армиях мира так водится – с мелким интендантской дружбой поддерживать. В общем, после его баек, было что на карту нанести, было и что в оперативной сводке указать.

А на Сему с Мишаней пошло от комбата вверх служебное представление и вскоре к отважной медальке добавилось у обоих по «Красной Звезде». Да только после памятной той прогулки за языком не радовался Семен ничему, не отпускал его Бауэр. То вдруг замаячит в артиллерийском прицеле его долговязая нескладная фигура и, обернувшись, подмигнет ехидно, то вообще во сне явится – будто он сам себя саперной той лопаткой закапывает и Сене выговаривает, мол, что же ты, иван, меня даже земелькой не присыпал, нехорошо это, не по-христиански.

После таких видений тот сам не свой ходил, а потом и вовсе стал готовить себя к подвигу. Но то, что он сам себе пытался объявить подвигом, на самом деле погибелью пахивало.

Мишаня чуял, что с другом что-то неладное происходит, помалкивал до поры до времени, но глаз с Семена не спускал.

Сема до своего «подвига» недолго созрел, а как созрел, так и подгадал под себя случай удобный. Дождался, когда немец на контратаке будет у нас высотку отбивать, да и поднялся из окопа в полный рост, попер на фрица, щедро поливая из автомата слева-направо, орал дико, с жизнью прощался. Только и в этот раз не судьба была Заварзину голову сложить – Мишаня начеку был. Бросил впереди друга своего две шашечки дымовые и за Семеном вслед кинулся. Сбил его с ног, да по сопатке съездил разок, а потом уже под завесой дымной стащил в окоп.

Видать, высотка та немцу до зарезу нужна была. До вечера еще дважды контратаковал, но отстояли солдатики неказистую эту горочку. Вечером ждала Сему нехитрая солдатская терапия. Навалились разведчики на него оравой, содрали штаны вместе с кальсонами, задрали гимнастерку и стали охаживать в два ремня солдатских. Били немилосердно, без всякой жалости – знали, что ремень больно сделает, а покалечить – не покалечит. Скоро искры, из глаз Семиных снопами сыпавшиеся, обратились сплошным пятном красным. Закричал Семен от боли невыносимой: «За что, братцы? Мишаня, нешто ты мне „языка“ того простить не можешь?»

– Не в «языке» дело, зяма, а в тебе, брат, в тебе. Ну, чего ты на рожон прешь? Костлявая тебя не привечает, так ты сам за ней приударить решил? Я эту болезнь пехотную за неделю чую. От нее лучшего средства, чем ременная терапия не существует – это еще отцы наши в первую войну знали. Через ремень мозги либо напрочь съедут, либо на место встанут. Хлебни-ка вот негрустинчику, да до утра оклемывайся.

Потом Сема часто вспоминал эту порку. Вспоминал и удивлялся – неужели это он, гвардейский разведчик Семен Заварзин сам себе смертушку уготовливал, да еще «подвигом» каким-то прикрывался. А дружку своему беззаветному, за порку ту приснопамятную, Сема стал считать себя обязанным по гроб жизни. Ведь отстал-таки от него Бауэр, не приходил больше. Мало-помалу стала отогреваться душа солдатская. Война – войной, но и на фронте нет-нет, да и выпадет минутка затишья, когда оторвет солдат глаза от кутерьмы кровавой, обернется по сторонам и, вдруг, обрадуется свету белому, щебету птичьему и травам зеленым. Вспомнит он, что где-то далеко-далеко на смоленской земле, с именем его встает и с именем его засыпает родная его матери, ощутит всем своим существом, ею в свет препровожденным, как гонит от него костлявую горячая ее молитва.

А еще – Мишаня... Где еще встретишь такую душу щедрую, на все обиды не ответную, но изъяна лживого никому не прощающую. А если и стырит что, так не из корысти вовсе, а азарта ради, и для того, чтобы у всех смертных шансы уравнять.

С костлявой у Мишаньки отношения были свои, особенные. Не то, чтобы он от ее ухаживаний бегал, нет. Просто, он ей свиданку назначал если уж не на родном погосте, то, на крайний случай, где-нибудь в Берлине. Она вроде бы и согласилась, да передумала и на свой лад все перекроила. И гнездышко для встречи отвела самое наипрекраснейшее.

Весь Мемель прусский полыхал пожаром, взирал на входящих наших бойцов пустыми глазницами оконных проемов полуразрушенных зданий, а этот флигелек выглядывал из садика чистыми окошками с занавесочками, хвастался новой черепицей. Тут бы и насторожиться Мишане, заподозрить подвох коварный, да уж больно этот флигелек на детскую сказку был похож. Поддался Мишанька сказочному очарованию, решил мечту свою детскую пальцем потрогать, побежал по аккуратной гравийной дорожке, взлетел на крылечко расписное и скрылся за дверь. Минуты не прошло, как вылетели стекла в окнах от взрыва нешуточного, и флигелек враз потерял свое очарование.

Нёсся Сема к флигельку, не чуя под собою ног, тешил надежду, что обойдет лихо друга закадычного, а, влетев в оконный проем, застал Мишаню ползающим по полу. Мишаня с пола потроха свои собирал и деловито складывал их в брюшину, как в портфель распахнутый.

– Зяма... возле шкапчика посмотри..., не осталось ли чего... Мне ливер мой... коновалам нашим... по описи сдавать надо будет... Они недостачу враз предъявят...

Возле «шкапчика» чисто было – все подобрал Мишаня, вместе со стеклом битым и крошкой кирпичной валом в себя сложил.

Больно было Мишане, очень больно и силы уходили куда-то. От того и слова он из себя с трудом вытаскивал и как кирпичи к ногам Семиным складывал: «Зяма... Слышишь меня, зяма...? Понял я про твоего первенца... У того „языка“... на ксиве... в имени видно было одну букву..., а букв всех было не четыре..., пять... Не Пауль он был..., Петер... У нас ведь тоже..., если близнецы народятся..., то их обязательно в Петра и Павла окрестят... Выходит ты на время близнецов разлучил..., а потом опять... вместе свел».

Замолчал Мишаня, дышал хрипло, силы собирал, еще что-то сказать хотел: «Зяма, зяма..., а фраер-то по ихнему... значит... вольный. А я кто?... Фраер что-ли?».

Опять замолчал Мишаня, дышал тяжело, силился сказать что-то, потом вдруг засветился улыбкой мечтательной и снова из себя кирпичи вытаскивать стал: «А у всех берлинских фраерков... лопатники... из чистой крокодиловой кожи...» Сказал, да так и затих с мечтательной улыбкой на лице. Ни дать – ни взять – дите малое, которому маманя пообещала, что ежели уснет, купит ему назавтра лошадку раскрашенную. Будет тебе конек расцветенный, будет тебе и пряник с изюмом, а кошелек тот крокодиловый я тебе мигом доставлю. Только не умирай, Мишаня, не умирай!!!

Да не послушал Мишаня друга своего. Заерзал, заерзал ногами, будто кандалы с себя стаскивал, к жизни земной его приковавшие, а вместо них натянул на себя пепельное то покрывало.

Завыл Сема воем звериным. Возил кулаком по скулам, размазывая по лицу грязь, впоремешку со слезой обильной, материл последними словами санитаров, сдуру вздумавших Мишаню вперед головой выносить. Потом уже, как в бреду, яростно махал лопатой, готовил купель посмертную для своего друга-сотоварища, в которой обрел он братьев своих. А братьев тех на добрый батальон набиралось. Горстями сыпал Сема на тела братьев землю чужую, насыпал курган высокий, глушил спирт дозой немереной, опустошая запасы медсанбатовские, пытаюсь унять боль в сердце своем – не унималась боль.

Да ведь фронт не ждал, катил напористо по германской земле, спешил. А спешить было куда – уже маячила на горизонте платком цветастым, звала в свой хоровод нашего солдата, сулила венец славный та, единственная, из всех девиц наипрекраснейшая, всем невестам невеста – Победа. И не было на земле преграды, способной остановить неумную силу русского стремления к Победе. Скорей, скорей – на Берлин!

После Кенигсберга у фрицев сплошного фронта уже не наблюдалось – одни укрепрайоны с наспех сооруженной фортификацией. Да и сам фриц уже не тот был. Дрался яростно, но ярость эта была яростью загнанного в угол волка, который об атаке уже и не помышлял. Вся его тактика на оборону была нацелена, да на то, чтобы время потянуть. Хуторок тот неприметный разведчиков и не интересовал вовсе – просто у них маршрут через него проходил. Хаус, который при хуторе был, обыскали, как полагается и пошли дальше. Тут-то с чердака и саданула по бравым гвардейцам пулеметная очередь. А пуля – она, как известно, дура. Спрашивать и предупреждать никого не стала, просто взяла да и прошила Сему навывлет. Убить – не убила, а в госпиталь надолго уложила. Вот так оно и вышло, что неожиданно для него самого, война для Семена на том хуторе и закончилась.

Ой, ли! Так уж и закончилась? Закончилась или нет – про то у фронтовиков спрашивать надо. Сдается она для них никогда и не кончалась. Сколько их по первости, прорываясь сквозь мирный сон, снова и снова поднималось в атаку, сколько их заходило во сне криком, требуя снарядов для своей батареи – про то жены да материи знают.

Семену Заварзину мирная жизнь тоже долго не ложилась на сердце. С малолетства жадный до работы, натасковавшийся за годы войны по крестьянскому труду, хватался Сеня за любой гуж как за молодайку – себя забывал в пахоте. Очухивался только когда солнце садилось. Но после заката, когда оставался один на один с самим собой, наваливалась тяжким грузом на него война. Опять он полз по открытому полю под шквальным минометным огнем, снова шел в рукопашную, снова поднимался в полный рост и пер на вражью стену. Иной раз Семен до зари не смыкал глаз.

Неизвестно, как долго бы это продолжалось, только однажды подошла к нему Глаша, расцветшая за войну соседская девчоночка. Подошла, погладила опасливо шрамы на Семиной груди и спросила: «Больно?» А Семен прижал ладонью ее руку и брякнул: «Замуж за меня пойдешь?»

С того дня стал Семен песни петь. Да ведь, если по большому счету брать, вся жизнь – она песня и есть. И какие бы в той песне куплеты не сложились, а запев с припевом у каждого человека все равно про любовь, про счастье будут. Получалось, что через войну узнал Сеня истинную цену жизни своей и счастьем своему. Потому, наверное, и жил-радовался, песни пел.

Только вот в последнее время в песнях тех другие нотки пробиваться стали, и понял вдруг дядя Семен, что стареет он. А все потому, что объявился-таки его первенец. Объявился – вроде и не уходил никуда, а так, по нужде отлучался ненадолго. И время выбрал подходящее – праздник Победы. Грустный получился праздник. Не было на этот раз за праздничным столом

ни Сереги Голомазова, ни Вани Шадрина, да уже и не будет никогда. Из всей фронтовой братии на деревне остались лишь Семен Заварзин, да Коля Шмелин.

– С Победой тебя, Сема! Живи долго!

– И тебе не хворать, Коля! С Победой!

Стукались земляки-ветераны стопками, цепляли неторопливо закуски из немудреного крестьянского изобилия, слушали здравицы, в их честь льющиеся непрерывным потоком с подслеповатого телеэкрана. Здравницы сменились военной кинохроникой. Видать, телевизору те страшные кадры не под силу являть было – мигать стал телевизор, и трястись от грохота артиллерийского. А потом грохот вдруг прекратился и, в полной тишине, зловещая в своей нескончаемости, двинулась на Семена с экрана длиннющая немецкая колонна, идущая по московским проспектам. Только фрицы те с пустыми руками шли и без ремней поясных, вели их молодые советские ребята. Колонна та в чинах-званиях всех фрицев уравнила – и генерал, и капитан, и рядовой в одной шеренге вышагивают. Идут – глаза к дороге приклеили. А один солдатик вдруг голову поднял, глянул на дядю Семена и хитро так мигнул ему: «А ты, я вижу, живучий, иван. Вишь, медалек-то понацеплял». Бауэр? Похож был, вправду похож.

Праздник он Семену не испортил. Не я к тебе с мечем пришел, решил он про себя. Но после этого события в памяти его нет-нет, да и мелькнет войной навязанный образ.

Да что сейчас-то про это говорить, когда образ тот в плоти и крови стоит на родной улице, по-хозяйски уперев в бока свои рыжие грабли, в то время, когда сам Семен втискивает себя в бурьян, лихорадочно соображая, что же на самом деле происходит.

– Ну, со свиданьем, первенец. Сейчас я из тебя враз последыша сделаю!

Про себя дядя Семен уже все прикинул: в заборе, за четвертым столбиком пацаны две доски вышибли и на один гвоздь наживулили. Чем не калитка. И, главное, бесшумная. От «калитки» в сторону Бауэра заброшенные кусты сирени тянутся – «ширма» надежная. От кустов до фрица метров пять будет, не больше. Года, конечно, уже не те, но пока он поворачиваться будет и затвор передергивать, его топориком запросто достать можно. Только не уходи никуда, Бауэр, стой на месте. Теперь Семен снова был разведчиком, будто и не было этих десятилетий без войны. Откуда только прыть взялась – не заметил дядя Семен, как по ту сторону забора оказался, как вдоль кустов прополз. Вот только отдышаться надо немного, а уж потом фрицу, точно, капут придет.

А Бауэр, похоже, не зря сюда заявился. Он ведь по Семину душу пришел, знал, что Семен к нему навстречу сам спешить будет. Потому и не таился вовсе, стоял на открытом месте, ждал. А когда почуял, что пришел Семен, то не спеша потянулся к голенищу, сверкнула на ярком солнце полоска хромированной стали. По блескучести той понял Семен, что траншейный урок Бауэр освоил сполна и на сей раз чехол от тесака предусмотрительно за голенищем оставил, и, значит, все козыри опять к нему в руки попали.

Вот тут то и случилась неувязочка. Тесак достать-то он достал, да тут же и обронил. Падая, хромированная железка как то уж слишком звонко цвенькнула. У тесака «голос» куда как солидней будет.

А ведь облажался ты, Семен, облажался! Видать, и вправду стар стал. Как же это тебя угораздило накидной гаечный ключ, двадцать седьмого номера, с тесаком попутать! Ну, да может быть это и к лучшему, а вот то, что произошло дальше, уже ни в какие ворота не лезло. Как гром среди ясного неба где-то совсем неподалеку невнятно забубухал мегафон: «Товарищи фашисты, товарищи фашисты! Да, да, я к вам обращаюсь. Зачем же вы меня так подводите?»

– Помреж, – сказал «Бауэр» – влипли мы с тобой, Леха. Бросай свою колымагу.

Сказал и пошел на голос этого самого Помрежа, скрылся за кустами сирени.

Да что же, в конце концов, происходит? Сначала Бауэр, потом тесак, ключ, да еще этот Помреж со своим «товарищи фашисты», все перемешалось в голове дяди Семена и ничему не находилось объяснения. Будто какая-то неведомая сила разыгрывала на селезневской улице

чудовищную клоунаду, а ему, Семену, в этом спектакле отводилась роль простака, попавшего на уловку клоуна.

– Ну, это мы еще поглядим, кто здесь клоун.

Дядя Семен зачем-то потрогал большим пальцем лезвие топора, постарался придать своему обличению побольше солидности, да и шагнул из кустов на дорогу.

Взору его открылась странная для несведущего человека картина, но дядя Семен уже начал понимать суть происходящего: «фриц» Леха и «фриц» «Бауэр» тщетно пытались вытолкать из придорожной канавы завалившийся на бок мотоцикл с коляской.

Раскрасневшийся от бега по жаре колобок в нелепой панаме и с «матюгальником» на шее и был, по-видимому, тем самым Помрежем. Помреж хватал «фрицев» за руки, настойчиво пытался оттащить их от мотоцикла и при этом причитал, чуть не плача: «Товарищи фашисты, вы же нам весь съёмочный день ломаете. Бросайте ваш транспорт и давайте быстренько, быстренько в кадр. Ну, я вас очень прошу».

Слова его, наконец, возымели действие. «Фрицы» перестали терзать злосчастный мотоцикл и, сунув руки в карманы, не спеша потопали за семенящим впереди колобком.

Спектакль для дяди Семена заканчивался. Только вот такой финал его никак не устраивал. Последнее слово, при любом раскладе, должно было остаться за ним. Потому и решил он напоследок свалить дурака: «Эй, фашист!»

Артист из «Бауэра» был никчемный. Он даже не понял, кто здесь фашист, а когда сообразил, что это к нему обращаются, то еще и обиделся. Будто это не он на себя гитлеровскую форму напялил.

«Фриц» остановился, потом повернулся, низко нагнув голову, будто бычок норовистый, и сказал: «Вообще-то за фашиста я и врезать могу, дядя. И на годы твои не посмотрю».

– Этот врежет – удовлетворенно отметил Семен – за фашиста я бы сходу врезал, и медлить бы не стал.

Однако дурака валять продолжал: «А я вот интересуюсь – и сколько же платят за то, что ты на себе вражьи доспехи таскаешь?»

«Бауэр» подвоха не почувствовал, все за чистую монету принял и простодушно ответил: «Один час – пятьдесят копеек».

– Деньги хорошие...

Семен не спеша снял с головы выдавшую виды, выцветшую до белесости кепку, достал из-за подкладки рубль и протянул его «фрицу». При этом лицо его выражало крайнюю озабоченность.

«Бауэр» наживку не клюнул и, вообще, проявил к рублю полное пренебрежение.

– И что дальше? – спросил он.

Озабоченность на лице дяди Семена сменилась безутешной скорбью: «Понимаешь – ли, гражданин фашист, беда у меня случилась. Боюсь, что кроме тебя мне и помочь-то некому».

– Ты толком говори, – «фриц» насторожился.

– Тут вот какое дело – дрозды меня вконец одолели. Грозят совсем без урожая оставить. Всю, всю ягоду поклевали: и клубнику, и сливу, и вишню.

Дядя Семен так вошел в образ, что и сам готов был поверить в неслыханную прожорливость дроздов. Голос его вполне натурально дрожал, даже слезливость стала проскакивать.

– Так что сделать-то надо, дядя? – в голосе парня послышались участливые нотки.

– Вот я и подумал – если ты за живую копейку у меня на грядках постоишь часок-другой, то от моего огорода не то что дрозды, все собаки как от чумы шарахаться будут. Где я еще такое распрекрасное пугало найду?.

Памятуя про обидчивость парня, подумал Семен, что уж сейчас-то он точно свои грабли в ход пустит, но марку свою держал крепко. Парень от изумления разинул рот, да так и застыл, будто памятник всем ротозеям. Зато Леха вдруг запританцовывал, приседал, стал бить себя

ладонями по коленям и зашелся в безудержном хохоте: «Ой, уморил! Ой, держите меня! Уел он тебя, Саня, уел. Один – ноль в пользу колхозника!»

Дядя Семен и сам давился рвущимся на волю смехом, не удержался – прыснул в ладонь и захохотал.

У Сани – «Бауэра» серьезности тоже ненадолго хватило. Теперь уже хохотали все трое, да так, что спросонья забрехал соседский пес. Его тут же поддержали другие церберы, и улица враз наполнилась собачьим разноголосьем.

И тут дядя Семен спохватился – Глаша-то помнит, как голосили все деревенские собаки, когда немец в деревню входил. Что она сейчас-то подумает?

Семен даже не попрощался, заспешил к своей избе. Когда входил во двор – нарочито громко стукнул калиткой, заметив краем глаза, как колыхнулась на окне занавеска, как замельтала в сених тень драгоценной его Глаши.

– По избам пошли? Да?.

А Семен и сам не понимал, почему он тянет с ответом. Будто лебедушку – подранка прижал осторожно к груди верную свою Глафиру: «Ну что ты, Глаша? Что ты? Нешто власть Советская за просто так фашиста до смоленской земли допустит? Да ни в жизнь! Это на ближних выпасах городские кино фотографируют. Про войну».

– Правда?

Обмякла лебедушка, заплакала беззвучно, освобождая сердце от груза непосильного: «Господи, да когда же она нас отпустит-то, Сеня?»

– Кто?

– Да война эта проклятушая. Ведь нету моченьки моей больше!

– А как порем, так и отпустит. Только это еще нескоро будет. Мы с тобой внучат не всех перенячили, а надо бы и правнука потетешкать. Ты, лучше, глянь, небушко-то, какое ясное. А травы как пахнут духмяно. Так бы духмян тот на хлеб мазал, да и ел.

«Ой, – спохватилась Глаша – и впрямь, обедать пора. Иди-ко за стол. Я сейчас».

Засуетилась, загремела посудой. А Семен достал из чулана початую бутылку, нашарил на грядке огурец, пошел к столу. Налил положенные поминальные граммы. Молчал, думал о чем-то, о своем. Потом вдруг сказал: «А ведь не придешь ты больше, первенец. Не придешь. Ну, да оно и правильно. Покойся с миром, Пауль Бауэр». Сказал, да и опрокинул в себя чарку горькую. Подумал-подумал и налил вторую.

«А Мишаня-то сейчас, наверное, „лопатники“ в сундуки складывает, а сундуки те сплошь обшиты крокодиловой кожей. Помяни, Господи, во царствии Твоем убиенного воина Михаила и прости ему все прегрешения, вольные и невольные» – не очень умело осенил себя Семен крестным знаменем, да и вторую чарку через себя пропустил.

Томила на столе похлебка, остывали в миске рассыпчатые картофельные кругляки, и слушала Глаша, как затягивает ее Семен старую – старую, давно позабытую песню. Пел он про то, какой ненастной выдалась эта суббота. Такой ненастной, что в поле работать, нет никакой возможности. А раз так, то можно и спину разогнуть, свету белому порадоваться, да со своей зазной по зеленому садику прогуляться. Хорошо было Семену. Хорошо, и на душе покойно.

Умею ли я читать?

Умею... – не умею... Да не знаю я. Хотя, с одной стороны, вроде и умею. Как буковку к буковке прикладывать я ведь раненько сообразил – пяти лет отроду или даже чуть раньше. Факт этот можно утверждать, вполне уверено, поскольку имеются тому осязаемые, я бы даже сказал – документальные, подтверждения. Тут, все дело в том, что свой шестой день рождения мне довелось встречать в больничной палате. А в больнице, по такому торжественному случаю, мне полагалась дополнительная передача (читай: подарок). А в подарочном свертке, поверх яблоч и карамелек лежала поздравительная открытка, подписанная бабиной рукой: «Дорогой наш сынок...» – ну, и так далее. Текст сей я, на манер церковного дьячка, торжественно прогнусавил на всю палату, чем вызвал у однопалатников, у соболезников и даже у нянечки подозрение в откровенном, ничем не прикрытом лицемерии – во вранье, проще говоря. Ну, да я их тут же и переубедил – отправил у них на глазах ответную «телеграммку» своим родителям. На обратной стороне какого-то медицинского бланка, пыхтя и шмыгая носом, муслякая чернильный «химический» карандаш (входила в те времена в обиход такая штуковина), начертал я вполне распознаваемые прописные буквы: «Дорогие мои папа, мама, сестренка...» – ну, и так далее по тексту. В конце – дата, подпись, как и полагается в телеграмме. Позже, два этих «документа» перекевали в «семейный архив» – легли между страниц альбома со старыми семейными фотографиями, где я и обнаружил их много лет спустя, будучи уже зрелым, несостоявшимся, но устоявшим в черное лихолетье, человеком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.